

Телефон звонит... Вот чёрт... Кто ж это?.. И в выходной поспать не дадут... Да слышу, слышу!.. Только никак глаза не открыть... Надо ещё руку протянуть... Впрочем, руку можно протянуть и с закрытыми глазами...

– Да-м?.. Что-м?.. Ну-м?..

– Алло! Геннадий?

Голос знакомый... Да это ж Семён Георгиевич...

– О, Семён Георгиевич! Здра-авствуйте! Что случилось? Что это вы в такую, так сказать, рань?

– Совсем не рань. Геннадий, ты уже слышал о моей смерти?

–Что? Как это? К... когда?..

Сон с меня как пух слетел.

– Да, мой друг. Вчера вечером я отбыл от вас от всех. И слава богу. А вообще это бессердечно с твоей стороны – чтобы за месяц ни разу не позвонить! За месяц – ни одного звонка! Просто безобразие! Ужасная бессердечность!

Трубку бросили.

Господи, этого ещё не хватало.

Тупо смотрю на одеяло и никак не могу сообразить, что делать. Прежде всего надо позвонить Петровским, проверить, не блеф ли.

– Алло! Ольга Власьевна? Я сейчас узнал, что Семён Георгиевич умер. Это правда?

– Да. Мы вчера у него были.

– Тьфу ты, чёрт!.. Он только что звонил мне.

– Представьте – никого не было дома. Схватило сердце. Инфаркт.

– У него никогда не болело сердце...

– У меня тоже никогда не болели ноги. А теперь я не могу ходить без палочки. Когда-нибудь что-нибудь у нас начинает болеть. И разве он был юношей?

И Ольга Власьевна принимается рассказывать про свои большие ноги...

Вот те на! Хотя, что удивительного? Я как-то всегда забывал, что Семёну Георгиевичу – 78. Нет, правда, я всегда воспринимал его как своего сверстника. То есть я думал, что у него, как и у меня, огромный запас времени впереди. Мне было 35, ему – почти 80. Но, когда мы играли с ним в шахматы, смеялись анекдоту какому-нибудь, читали «Figaro» или «Mond», которые он неизвестно где доставал, мне и в голову не приходило, что этим человеком овладела усталость жизни, что его мучит ожидание близкой смерти. В молодости всё примеряешь на себя. Так дети не понимают, отчего это бабушка не хочет поиграть с ними в салочки.

– А вы что коллекционируете? – спросил я у нашего общего знакомого Бориса Борисовича, когда три дня спустя на похоронах Семёна Георгиевича он бесцеремонно протянул мне руку.

– Покойников, – ответил тот, с грустной улыбкой. – Четвёртый за эти полгода.

Наверное, у меня был растерянный вид. Борис Борисович мягко (мне показалось, сочувственно) тронул меня за локоть – и отошёл в сторону.

Борис Борисович был когда-то своим в доме Семёна Георгиевича, но последние год или два почему-то перестал появляться у него, звонил изредка; так, спрашивал о здоровье, поздравлял с днём рождения, с Новым годом. Причины этому охлаждению я не знаю. Возможно, ему стало скучно со стариком. Тем не менее, Борис Борисович продолжал числиться в старых друзьях, и сейчас, у гроба Семёна Георгиевича держал себя на правах близкого человека, принимал соболезнования. Ко мне с соболезнованиями подходили реже, хотя я другом был также давним. Ещё мальчиком я начал хаживать к Семёну Георгиевичу вместе с отцом – они с Семёном Георгиевичем были приятели.

Лежащий в гробу Семён Георгиевич был одним из известнейших коллекционеров в городе. Коллекционировал он газеты. Из любого уголка мира можно было увидеть у него какую-нибудь периодическую страничку. Самый неожиданный формат, диковинный шрифт. Семён Георгиевич знал несколько иностранных языков, и многие из газет были им внимательно прочитаны. Этими листками я играл, когда был маленьким. Когда же стал постарше, то некоторые пытался читать. Семён Георгиевич помогал мне. С его помощью я улучшил после школы свой немецкий, потом освоил испанский и французский, особенно любимый Семёном Георгиевичем...

«Ну разве такой редкий человек, настоящий кладёзь знаний, интереснейший собеседник, редкий коллекционер – разве может он умереть?» – приходила иногда странная, как бред, мысль.

Вообще-то Семён Георгиевич был доктором технических наук, специалистом по полиграфическим машинам...

---

– Семён Георгиевич, говорят, вы едете в дом отдыха?

– Да, недельки на две. Поехали со мной, Геннадий? Я помогу тебе достать путёвку.

Я всегда отказывался. Это было скучно – ехать в дом отдыха со стариком. В детстве я с удовольствием бегал к Семёну Георгиевичу, у него была дома куча всяких интересных безделушек. Потом я любил слушать его рассказы, поесть вкусных вещей. Но с годами всё это перестало меня увлекать, мне становилось всё скучнее и скучнее в этом доме. Было жаль времени на визиты. Не знаю, понимал ли это Семён Георгиевич. Он-то как раз привязался ко мне. Один он остался на свете. Жена давно умерла, детей у него не было. В Очакове только жили два его брата, но обоим было за 70, как и ему, оба всё время болели...

Когда Семён Георгиевич рассказывал мне про то, что слепнет на один глаз, что на ногах у него появились незаживающие язвы, я только сочувственно качал головой, не понимая, что это «сигнальчик» к концу, что полноценного зрения уже не будет и с ногами может быть только хуже. А дальше только одно – конец, смерть. Но я мыслил помолодому: поболит – перестанет. В 35 мы ещё совсем дураки...

Теперь я понимал, как был бесчувствен и как был жесток со своим пожилым другом... О, не дай бог иметь в друзьях старого человека. Ходишь как по лезвию бритвы...

Я вдруг почувствовал в себе желание хоть запоздалым вниманием загладить вину перед Семёном Георгиевичем.

Я подошёл к гробу.

Семён Георгиевич лежал как живой. Верно говорят, что умершие от сердечных болезней не меняются внешне.

Увидев меня, Семён Георгиевич отвернулся. Что же, я понимал его...

Я стал рассматривать обивку гроба.

Чьи-то нервные всхлипывания вывели меня из задумчивости: к нам, опершись на палочку, ковыляла Ольга Власьевна. Она прижимала к носу платок.

Семён Георгиевич бросил на приятельницу укоряющий взгляд.

– Ольга, перестань! Не люблю, ты знаешь.

– Сенечка, но ведь как же мы теперь без тебя? Ведь мы теперь ничто, ничто!.. – заскулила Ольга Власьевна.

– Ладно, ладно. Ты всегда была взбалмошная дамочка, – размяк Семён Георгиевич. – Отойди и успокойся.

Ольга Власевна ещё пару раз картинно всхлипнула, развернулась и направилась к толпе знакомых и родственников. Заметив меня, она кивнула поспешно.

Семён Георгиевич снял очки и, положив их на край гроба, стал тереть двумя пальцами свои вечно болевшие глаза.

– А вы что здесь стоите, молодой человек? Совесть замучила? – обратился он ко мне на «вы», что всегда было знаком его крайнего нерасположения.

– Ай, да что там, Семён Георгиевич? – забубнил я. – Конечно, я виноват... Всё некогда зайти, то дела, то... снова дела... Ну, кто знал, что так обернётся?..

– Знаешь, Геннадий... – вздохнул Семён Георгиевич, всё потирая глаза. – Я думал, что когда помру, буду часто вспоминать о тебе. Ты всегда был мне дорог... Нет, не хочется!

Семён Георгиевич покончил с массажем глаз и осторожно взял с края гроба очки. Очки он носил постоянно.

– Не видит один глаз, чёрт его дернул... – проворчал он.

Борис Борисович стоял за моей спиной. Я затылком чувствовал его торжественно-трагический взгляд, устремлённый на покойного. Меня так и подмывало обернуться и сказать ему: «Борис Борисович! Не старайтесь так в своей скорби! Уж очень заметно ваше старание!» Но меня волновало сейчас другое. Я всё ждал, глядя на Семёна Георгиевича, когда же, после своего обвинительного вступления, он станет, по обыкновению, сам же оправдывать меня? Когда, наконец, начнётся церемония нашего примирения?

Минуты шли. К гробу подходили и подходили люди – знакомые и незнакомые. Семён Георгиевич едва достаивал их взглядом. На меня же не взглянул ни разу. Это было обидно. Я начинал испытывать всё большую неловкость. И уж совершенно обомлел, когда услышал вдруг исходившие из уст Семёна Георгиевича:

– Боренька, подойди. У меня к тебе дело.

Борис Борисович протиснулся между мной и какой-то толстой дамой и, исполненный глубокой грусти, склонился над гробом. И я почувствовал что-то похожее на ревность к Борису Борисовичу.

– Боренька, милый. Когда меня... в общем, когда всё закончится, собери мои бумаги. Ключи возьми у Ольги, ты знаешь. Коллекцию я подарил Публичке, это их теперь забота, а ты возьми бумаги. Письма там, записные книжки, ну, в общем, всю эту ерундовину, которая теперь никому не нужна. Будь добр, сохрани всё это. Если объявятся какие-нибудь корреспонденты или, паче чаяния, родственники, раздай им. Такая у меня к тебе последняя просьба. Я тебе доверяюсь.

Я стоял как оплётанный.

– Да, вот этому молодому человеку, что стоит здесь, отдай два

последних «Mond» – ноябрьский и декабрьский. Я обещал их ему дать почитать, теперь пусть возьмёт совсем. И напиши Дроздовым. Я брал у них когда-то давно большой «Larousse», потом приобрёл свой, а их отослать всё никак не могу. Отошли, пожалуйста, не сочти за труд...

Я думаю, всё это говорилось мне в укор. Этаким уроком за моё равнодушие, невнимательность и чёрствость. Но отчего такая немилость? Почему такой резкий поворот от тесной дружбы и доверительных отношений при жизни – к почти открытой враждебности сейчас? Ведь Семён Георгиевич всегда тянулся ко мне. Видно, я сильно его обидел. Но ведь я и раньше подолгу не звонил, не давал о себе весточек. Почему именно сейчас такой афронт, а не раньше, при жизни? И почему Борис Борисович занял моё место? Борис Борисович! Меньше сделавший для Семёна Георгиевича, чем любой из нас, стоящих здесь! Человеческая обида иногда выплёскивается странным образом (я имею в виду Семёна Георгиевича)... Я сам начинал чувствовать обиду на своего покойного друга. За что? За несправедливое ко мне отношение?..

– Эй, ну кто там? – огрызнулся я громким шёпотом на какого-то невежу, с шумом ввалившегося в траурный зал. Мне просто хотелось сорвать на ком-то своё раздражение.

«Ввалившейся» оказалась Татьяна Сергеевна, изве-е-стная недотёпа. Приплелась вот с какими-то сумками.

– Сенечка, я принесла кашу. Гречневая. Ты любишь. Как твои ноги? Слушай, ты сообщил Дине Шпет? Она волнуется. А каши тебе хватит на три дня.

– Какая сейчас каша, Таня? Оставь, ради бога!..

Семён Георгиевич вздохнул.

– Сенечка я не могу быть долго мой племянник приехал а Марина в Токсове мне надо ехать, – затараторила Татьяна Сергеевна без всяких пауз.

– Ну, привет, – холодно отозвался Семён Георгиевич.

Я заметил, что Семён Георгиевич стал после смерти холоден в своих реакциях, Может, это потому, что теперь ему некого было стесняться и нечего терять. Уж теперь-то можно быть самим собой, верно? Хотя, не верится, что Семён Георгиевич раньше притворялся. Впрочем... вспоминаю – эта холодность, эта злая обидчивость, бывало, выплёскивалась у Семёна Георгиевича, выплёскивалась. Я ещё удивлялся тогда, отчего это, при доброте его, он бывает так удивительно зол и даже жесток. Я, правда, никогда не относил это на счёт его натуры, а считал взрывом раздражения, не больше...

---

Как-то мы заговорили о любви к профессии. Как вы знаете, Семён Георгиевич был крупным специалистом по полиграфической

технике. Долгие годы он руководил КБ, а когда вышел на пенсию, продолжал консультировать, давал советы, редактировал рабочие планы и т.п. Ему часто делали предложения вернуться на работу, но ещё чаще просили квалифицированной помощи, звонили по этому поводу чуть не каждый день. Звонки эти ему надоедали. Иногда он довольно бесцеремонно посылал звонящих к «такой-то матушке». Но это нежелание заняться снова делом не было результатом апатии. Дело своё он любил, и если заходил разговор о профессии, он увлекался и не упускал случая рассказать что-нибудь интересное из своей практики.

– Мне кажется, Семён Георгиевич, вы оттого так любите своё дело, что оно у вас хорошо получается, – бросил я как-то,

Я в этот момент расставлял фигуры на шахматной доске.

– Представьте – оно у вас шло бы из рук вон плохо. Разве вы стали бы отдавать ему всего себя?

– Я думаю, что это у тебя твоё дело явно получается плохо, – мрачно отозвался Семён Георгиевич, меняя местами короля с ферзём, которых я перепутал. – Отсюда и эти твои мысли, неразумный юноша. Впрочем, наблюдение довольно тонкое. Ставлю тебе пятёрку. Но только должен тебя огорчить. Моё дело потому и получается у меня, что я его люблю. Я отдал ему пятьдесят лет жизни. О чём тут говорить, дорогой мой! Я, например, могу хорошо играть в шахматы, но я же не фанатик шахмат. Ты просто не думаешь, что говоришь!

Семён Георгиевич, кажется, готов был обидеться. Но я тогда этого не заметил.

– Нет-нет, – развивал я свою мысль. – Именно так. Вы оттого любите ваше дело, что оно у вас получается. Тут прямая зависимость.

Всю партию Семён Георгиевич провёл в непонятном мне молчании. А после партии почему-то не предложил мне чаю, что делал обычно, а холодно проводил до двери. Я не понял, что нанёс ему, кажется, кровную обиду.

И всё же я не обратил тогда особенного внимания на этот случай. Мне, кстати, вовсе и не хотелось чаю. Но если б я знал, что за обидой Семёна Георгиевича скрывается глубокое безразличие ко всему на свете, я бы вёл себя по-иному. Но разве я что-то тогда понимал?..

---

Что же, неужели я раскусил вас, Семён Георгиевич? Поздновато, а раскусил!

«Не стать бы мне таким после смерти, – подумал я, – Хоть какую-то отзывчивость, хоть какую-то человечность сохранить, боже мой...»

Как раз в эту минуту мимо меня прошёл Борис Борисович, и мы

обменялись с ним многозначительными недоверчивыми взглядами. Что он подумал?..

Этот пристальный взгляд расшевелил мою память. Борис Борисович натолкнул меня на догадку.

Когда я шёл сюда, на панихиду, то, помню, увидел сидящим возле ворот какого-то дома старика в орденах. Вытащил старый какую-то табуретку на улицу, надел пиджак со всеми регалиями – и вот красуется, хвастает своими наградами, кичится заслугами. А так поглядеть – будто вышел на солнышке посидеть. Я прошёл мимо, посмотрел на старого, усмехнулся... И вдруг взглянул в лицо старика – а глаза у него были грустные и какие-то холодные... Ему, по-моему, было совершенно всё равно, смотрят не его награды или нет... Не так ли и Семён Георгиевич, говоря со мной о профессии, умом погружался совсем в другое? Что звания, что регалии, когда смерть на пороге?.. Не это ли мелькало в его голове?..

Загадкой, настоящей загадкой был для меня и Борис Борисович. Что он вдруг взялся ухаживать за умершим? С чего это он вдруг стал так любезен, так внимателен, так заботлив – именно теперь? А в это время старые, истинно верные друзья Семёна Георгиевича только театрально всхлипывают, ахают, молча таращат глаза и делают вид, что им очень тяжело... Что происходило с Борисом Борисовичем? Ведь не зарился же он на ненужные никому письма и какие-то записные книжки старого коллекционера газет?!

Конечно, Семён Георгиевич давно почувствовал, что мне в тягость визиты к нему, что мне скучно с ним, что я избегаю лишней раз приходиться к нему. Наверное, и Борис Борисович обидел его, когда перестал ходить к нему. После Бориса Борисовича я был последним, кого старику приятно было видеть. Но вдруг и этот юноша (то есть я) решил бросить его... Вот что, я думаю, особенно Семёна Георгиевича задело. Он был как женщина. Понятно, что обида на меня была куда сильнее обиды на Бориса Борисовича. На меня он надеялся, верил мне... Старику всегда хотелось иметь благодарного слушателя и даже почитателя, хотелось иметь рядом такого человека, которого можно учить жить, наставлять, держать на поводке... Я очень подходил для этой роли; я был мягок, совестлив. Попробовал бы он учить жить Ольгу Власьевну! Может быть, этим объяснялись его дружеские чувства ко мне, и безразличие моё, безразличие совсем молодой человека, причиняло ему боль?.. Не знаю.

Вообще, если посмотреть, то все здесь присутствующие – как при жизни Семёна Георгиевича, так и теперь – довольно безразличны были

к своему другу. Да чего там! Все пожилые, все хворые, у всех свои болячки, заботы, у всех – смерть на пороге. Так что – всего в меру! И любви, и равнодушия. Я не раз замечал, кстати, что старые люди как-то особенно равнодушны к смерти другого человека. И теперь, на похоронах именно, я понял, что они равнодушны и к чужой жизни. Возможно, это способ самозащиты...

Небезразличны к Семёну Георгиевичу сейчас были только двое – я и Борис Борисович. Борис Борисович был сама заботливость; я же был исполнен совестливого сострадания и стыда. Думаю, что насчёт нашей искренности Семён Георгиевич не обольщался. Он был скептик. Однако суетливость Бориса Борисовича ему весьма импонировала. Он, я смотрю, не уставал давать тому разные поручения и указания: то дверь закрыть, то форточку открыть, то воды принести.

Вот, кстати, когда Семён Георгиевич попросил принести воды, я и решил воспользоваться паузой и занять местечко Бориса Борисовича возле гроба, чтобы сказать умершему другу хоть несколько слов в своё оправдание. Хотел, но – растерялся, не успел. Борис Борисович уже возвращался с чашкой в руках, полной воды. Все уступали ему дорогу и глядели почему-то на чашку, словно беспокоились, как бы Борис Борисович не пролил воду.

Борис Борисович красовался перед всеми своей дружеской верностью и своим человеколюбием.

Когда он приблизился к гробу, навстречу чашке протянулась сухая жёлтая рука.

Невольно я глянул в лицо Семёну Георгиевичу, а он глянул на меня. У меня, наверное, было опрокинутое лицо – от стыда, от мерзкой душевной муки. Боже мой! Какое затаённое удовольствие мелькнуло в глазах старика! Что бы это значило?

Я посмотрел на Бориса Борисовича.

«Что, попался? – подумал я. – При жизни старик мучил меня, заставляя развлекать его, а теперь – понукает тобой. Таскай ему воду, открывай форточку. Он ещё думает, что оказывает тебе честь. А меня он такой чести лишил, пусть, мол, помучается, молокосос!...»

Все-таки Семён Георгиевич был мудрый человек. Он, по крайней мере, не обманывался насчёт своего положения. Я помню, как умирал мой сосед по лестничной площадке, как судорожно цеплялся за жизнь. Это было неестественно и даже смешно. Например, когда открытый гроб несли по лестнице, он пытался позвонить кому-то по телефону и одновременно давал указания сыну, какие из пришедших писем надо будет переслать ему (куда?!). Он ещё «играл в жизнь». Смешно и дико это было. Нет, Семён Георгиевич сразу смирился со своим новым состоянием. Для этого, наверное, нужно много мужества. Или – душевного холода.



Что-то я не мог сам себя понять. То я старался избегать Семёна Георгиевича при жизни (ведь вот теперь он упрекает меня в этом). А то вот страдаю из-за отсутствия его внимания ко мне. В чём дело? Может, в потревоженной совести? Но я не стеснялся думать про себя: о, если б Семён Георгиевич остался жив, я бы всё исправил, я бы усилил внимание к нему, я бы навещал его каждый день!.. А теперь надо мной будет вечно висеть меч вины... Теперь я понял, кажется, Бориса Борисовича. Как вы сообразительны, как хитры, милый Борис Борисович! Над вами теперь ничто не будет висеть. Старик охотно принял ваши ухаживания и, конечно, простил вас. А мне вот – вечная мука!

В гробу зашуршало. Я оглянулся.

Семён Георгиевич, приподнявшись на одной руке, в другой сжимал шахматную доску и слегка ею потряхивал.

– Не хотите ли? – обращался он к Борису Борисовичу, и глаза его светились надеждой и радостью.

Борис Борисович торопливо кивнул...

Эх, досада! Вот уж истинно – досада! Мне бы оказаться чуть поближе к гробу, я бы, несомненно, перебил у Бориса Борисовича возможность ответить. Старику пришлось бы играть со мной – со мной, как и было всегда! Тогда бы мы с Борисом Борисовичем сравнялись в позициях! Но – возможность упущена!..

И всего-то, всего-то надо было встать на двадцать сантиметров левее, когда Борис Борисович нёс старику воду. Всего двадцать сантиметров! Непростительная ошибка!..